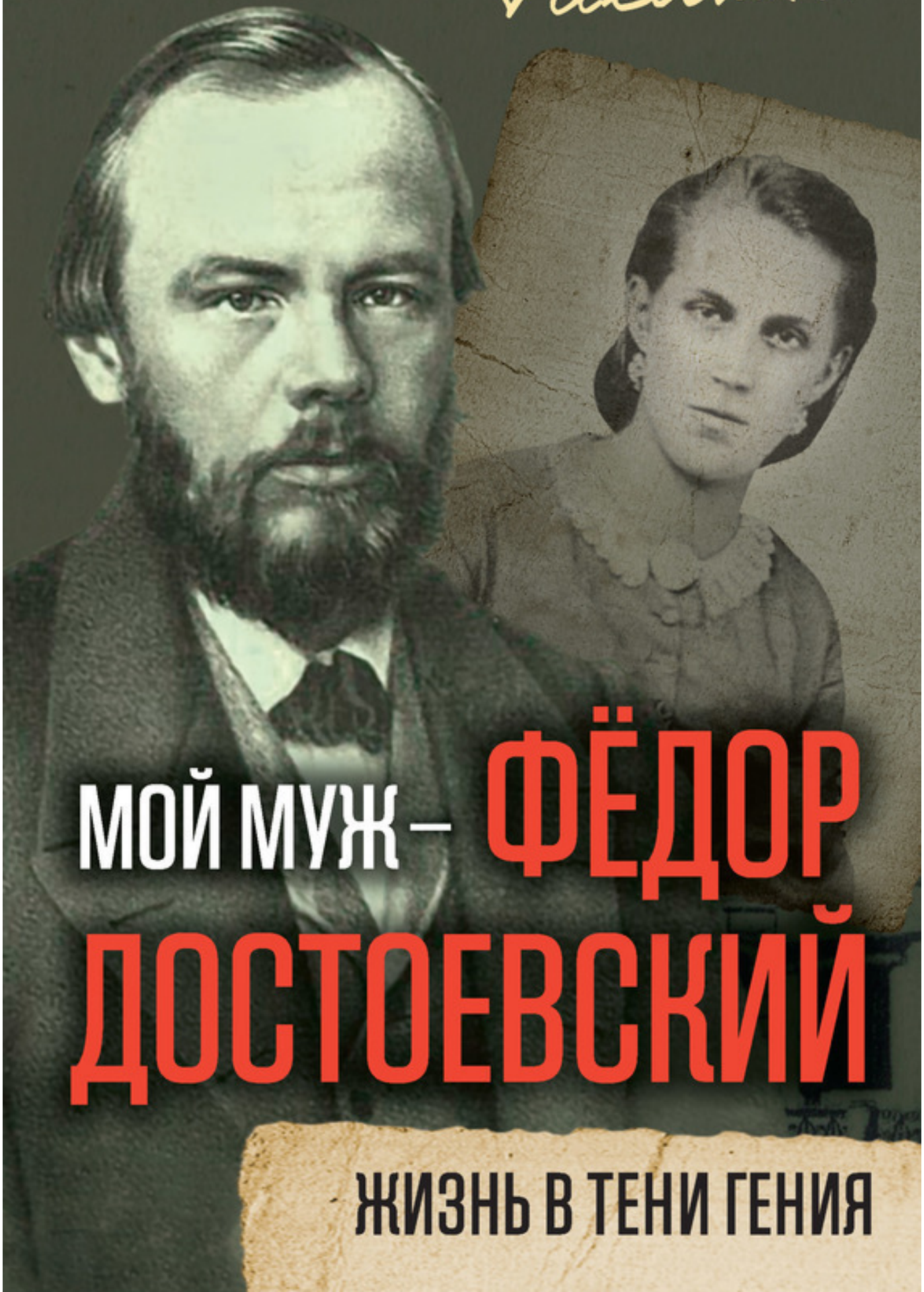
Я помню его таким...



МОЙ МУЖ – ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ

ЖИЗНЬ В ТЕНИ ГЕНИЯ

Я помню его таким…

Анна Достоевская

Мой муж – Федор Достоевский. Жизнь в тени гения

«Алисторус»
2018

УДК 821.161.1.09 Достоевский Ф.
ББК 83.3(2)1-8 Достоевский Ф.

Достоевская А. Г.

Мой муж – Федор Достоевский. Жизнь в тени гения /
А. Г. Достоевская — «Алисторус», 2018 — (Я помню его таким…)

ISBN 978-5-906995-54-4

Перед нами воспоминания и мысли женщины, которая прошла через бедность, нужду, дурное настроение, частые припадки эпилепсии и игровую зависимость своего гениального мужа, но не перестала любить. Став вдовой в возрасте тридцати пяти лет, Анна Достоевская всю свою оставшуюся жизнь посвятила заботе о его публикациях и оставила нам сентиментальный рассказ о том истинном Достоевском, которого могла знать только любящая женщина. Рассказ о семьянине, любящем муже, заботливом и нежном отце – главная тема мемуаров его жены.

УДК 821.161.1.09 Достоевский Ф.
ББК 83.3(2)1-8 Достоевский Ф.

ISBN 978-5-906995-54-4

© Достоевская А. Г., 2018
© Алисторус, 2018

Содержание

Предисловие 6
Часть первая. Детство и юность 7
Часть вторая. Знакомство с Достоевским. Замужество 14
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Анна Достоевская
Мой муж – Федор Достоевский. Жизнь в тени гения

© ООО «ТД Алгоритм», 2018

* * *

Предисловие

Я никогда прежде не задавалась мыслью написать свои воспоминания. Не говоря уже о том, что я сознавала в себе полное отсутствие литературного таланта, я всю мою жизнь была так усиленно занята изданиями сочинений моего незабвенного мужа, что у меня едва хватало времени на то, чтобы заботиться о других, связанных с его памятью делах.

В 1910 году, когда мне, по недостатку здоровья и сил, пришлось передать в другие руки так сильно интересовавшее меня дело издания произведений моего мужа и когда, по настоянию докторов, я должна была жить вдали от столицы, я почувствовала громадный пробел в моей жизни, который необходимо было заполнить какою-либо интересующею меня работой, иначе, я чувствовала это, меня не надолго хватит.

Живя в полнейшем уединении, не принимая или принимая лишь отдаленное участие в текущих событиях, я мало-помалу погрузилась душою и мыслями в прошлое, столь для меня счастливое, и это помогало мне забывать пустоту и бесцельность моей теперешней жизни.

Перечитывая записные книжки мужа и свои собственные, я находила в них такие интересные подробности, что невольно хотелось записать их уже не стенографически, как они были у меня записаны, а общепонятным языком, тем более что я была уверена, что моими записями заинтересуются мои дети, внуки, а может быть, и некоторые поклонники таланта моего незабвенного мужа, желающие узнать, каким был Федор Михайлович в своей семенной обстановке.

Из этих разновременно записанных в последние пять зим (1911–1916) воспоминаний составилось несколько тетрадей, которые я постаралась привести в возможный порядок.

Не ручаясь за занимательность моих воспоминаний, могу поручиться за их достоверность и полное беспристрастие в обрисовке поступков некоторых лиц: воспоминания основывались главным образом на записях и подкреплялись указаниями на письма, газетные и журнальные статьи.

Признаю откровенно, что в моих воспоминаниях много литературных погрешностей: растянутость рассказа, несоразмерность глав, старомодный слог и пр. Но в семьдесят лет научиться новому трудно, а потому да простят мне эти погрешности ввиду моего искреннего и сердечного желания представить читателям Ф. М. Достоевского со всеми его достоинствами и недостатками – таким, каким он был в своей семейной и частной жизни.

Часть первая. Детство и юность

I. Мое появление на свет Божий

С Александро-Невской лаврой в Петербурге соединены многие важные для меня воспоминания: так, в единственной приходской церкви (ныне монастырской) Лавры, находящейся над главными входными вратами, были обвенчаны мои родители. Сама я родилась 30 августа, в день чествования св. Александра Невского, в доме, принадлежащем Лавре, и давал мне молитву и меня крестил лаврский приходский священник. На Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры погребен мой незабвенный муж, и, если будет угодно судьбе, найду и я, рядом с ним, место своего вечного успокоения. Как будто все соединилось для того, чтобы сделать Александро-Невскую лавру самым дорогим для меня местом во всем мире.

Родилась я 30 августа 1846 года, в один из тех прекрасных осенних дней, которые слывут под названием дней «бабьего лета». И доныне праздник св. Александра Невского считается почти главенствующим праздником столицы, и в этот день совершается крестный ход из Казанского собора в Лавру и обратно, сопровождаемый массою свободного в этот день от работ народа. Но в прежние, далекие времена день 30 августа праздновался еще торжественнее: посередине Невского проспекта, на протяжении более трех верст, устраивался широкий деревянный помост, по которому, на возвышении, не смешиваясь с толпой, медленно двигался крестный ход, сверкая золочеными крестами и хоругвями. За длинной вереницей духовных особ, облаченных в золоченые и парчовые ризы, шли высокопоставленные лица, военные в лентах и орденах, а за ними ехало несколько парадных золоченых карет, в которых находились члены царствующего дома. Все шествие представляло такую редкую по красоте картину, что на крестный ход в этот день собирался весь город.

Анна Григорьевна Достоевская (урожденная Сниткина; 1846–1918 гг.) – вторая жена Ф. М. Достоевского (с 1867 г.). Известна как издательница и публикатор творческого наследия своего мужа, библиограф и автор ценных воспоминаний, а также одна из первых филателисток России

Мои родители жили в доме, принадлежащем и поныне Лавре, во втором этаже. Квартира была громадная (комнат 11), и окна выходили на (ныне) Шлиссельбургский проспект и частью

на площадь перед Лаврою[1]. Семья была большая: старушка-мать и четыре сына, из которых двое были женаты и имели детей. Жили дружно и по-старинному гостеприимно, так что в дни рождения и именин членов семейства, на Рождество и святки все близкие и дальние родные сбирались у бабушки с утра и весело проводили время до поздней ночи. Но особенно много собиралось гостей 30 августа, так как при хорошей погоде окна были открыты и можно было с удобством посмотреть на шествие, а кстати, и побыть в веселом знакомом обществе. Так было и 30 августа 1846 года. Моя матушка вместе с прочими членами семьи, вполне здоровая и веселая, радушно встречала и угощала гостей, а затем скрылась, и все были уверены, что молодая хозяйка хлопочет во внутренних комнатах насчет угощения. А между тем моя матушка, не ожидавшая так скоро предстоявшего ей «события», вероятно, вследствие усталости и волнения, вдруг почувствовала себя нехорошо и удалилась в свою спальню, послав за необходимою в таких случаях особою. Мать моя всегда пользовалась хорошим здоровьем, у ней уже прежде рождались дети, а потому наступившее событие не внесло никакой суматохи и волнения в дом.

Около двух часов дня торжественная обедня в соборе окончилась, загудели звучные лаврские колокола, и при выступлении крестного хода из главных ворот Лавры раздались торжественные звуки стоявшей на площади военной духовой музыки. Лица, сидевшие у окон, стали созывать остальных гостей, и были слышны восклицания: «Идет, идет, тронулся крестный ход». И вот при этих-то восклицаниях, звоне колоколов и звуках музыки, слышанных моею матушкою, тронулась и я в мой столь долгий жизненный путь (Про обстоятельства, сопровождавшие мое появление на свет, я слышала впоследствии от разных дядюшек и тетушек, бывших в тот день в гостях, много рассказов с разными вариациями и комментариями. – Прим. А. Г. Достоевской.).

Торжественная процессия прошла, и гости стали собираться домой, но их удержало желание проститься с бабушкой, которая, как им сказали, прилегла отдохнуть. Около трех часов в залу, где были гости, вошел мой отец, ведя под руку старушку-мать. Остановившись среди комнаты, мой отец, несколько взволнованный происшедшим событием, торжественно провозгласил: «Дорогие наши родные и гости, поздравьте меня с великою радостью: бог даровал мне дочь Анну». Отец мой был чрезвычайно веселого характера, балагур, шутник, что называется, «душа общества». Думая, что это известие – праздничная шутка, никто ему не поверил, и раздались восклицания: «Не может быть! Григорий Иванович шутит! Как же это возможно? Ведь Анна Николаевна все время была тут», – и т. д. Тогда сама бабушка обратилась к гостям: «Нет, Гриша говорит правду: час тому назад появилась на свет моя внучка, Нюточка!»

Тут посыпались поздравления, а из дверей выступила девушка с налитыми бокалами шампанского. Все пили за здоровье новорожденной, ее родителей и бабушки. Дамы бросились поздравлять родильницу (в те времена не было докторских предосторожностей) и целовать «маленькую», а мужчины, пользуясь отсутствием дам, прикончили припасенные бутылки шампанского, провозглашая тосты в честь новорожденной. Таким-то торжественным образом было встречено мое появление на свет Божий, и, как все говорили, это было хорошим предзнаменованием насчет моей будущей судьбы. Предзнаменование это впоследствии исполнилось: несмотря на то что мне пришлось перенести много материальных невзгод и нравственных страданий, я считаю свою жизнь чрезвычайно счастливою, и я ничего не хотела бы изменить в моей жизни.

Скажу несколько слов о моих родителях. Род отца был из Малороссии, и прапрадед носил фамилию Снитко. Прадед, продав имение в Полтавской губернии, переселился в Петербург, уже именуясь Сниткиным. Мой отец воспитывался в петербургской школе иезуитов, но иезуитом не сделался, а всю жизнь оставался добрым и простодушным человеком (Мой отец рассказывал странный эпизод из своего детства. Когда ему было лет 10, он шел зимой рано утром

[1] Дом в том же виде существует и теперь. – Прим. А. Г. Достоевской.

(около семи) в свою школу по набережной Фонтанки. Около Аничкова дворца к нему подошел какой-то высокий, хорошо одетый господин, рядом с которым стояла бедно одетая женщина. Господин остановил мальчика и сказал: «Хочешь сделать доброе дело, пойдем со мной и будь крестным отцом моего сына; а это твоя кума», – прибавил он, указывая на старушку. Отец мой был смелый мальчик и, не колеблясь нимало, пошел за господином и старушкой. Пришли в какой-то богатый дом, где ожидал священник, и тотчас началось крещение младенца. После того как ребенка окрестили, священника, кума и куму угостили чаем и сластями, а господин дал обоим кумовьям по червонцу. Так как папа опоздал в школу, то вернулся домой и рассказал, что с ним случилось. Ему объяснили, что существует поверье, что если все дети в семье умирают, то, чтобы новорожденный остался жить, надо, чтобы его окрестили первые люди, которые попадутся отцу ребенка навстречу. Такою кумою попалась навстречу старушка, а кумом явился папа. Впоследствии мой отец получал на Рождество и святки подарки от своего крестника, а раз был позван, чтобы благословить крестника, когда тот был болен при смерти. Существует также поверье, что молитва и благословение крестного отца и матери спасают младенца от смерти. Крестник поправился. Впоследствии отец мой потерял своего крестника из виду; отец называл его фамилию, но я ее забыла – Прим. А. Г. Достоевской.). Служил мой отец в одном из магистратов или департаментов. Мать моя была родом из Швеции, из почтенного рода Мильтопеус. Какой-то из ее прадедов был лютеранским епископом, а дяди – учеными. Это доказывает прибавление окончания еус, что учеными делалось из какого-то кокетства, вроде прибавления частицы де или фон. Жили прадеды в Або и погребены в стенах тамошнего знаменитого собора. Посетив однажды Або, проездом в Швецию, я попыталась было найти в соборе могилы предков, но так как не знала ни финского, ни шведского языка, то не могла от сторожа добиться никаких сведений.

Отец моей матери, Николай Мильтопеус, был помещиком в Санкт-Михельской губернии, и вся семья жила в имении, кроме сына Романа Николаевича, который воспитывался в Московском землемерном институте. Когда он окончил курс и получил место в Петербурге, то продал имение отца (к тому времени умершего) и перевез всю семью в Петербург. Здесь моя бабушка Анна-Мария Мильтопеус вскоре скончалась, а моя мать с двумя сестрами осталась жить у брата. Мать моя была женщина поразительной красоты – высокая, тонкая, стройная, с удивительно правильными чертами лица. Обладала она также чрезвычайно красивым сопрано, сохранившимся у ней почти до старости. Родилась она в 1812 году, и когда ей было девятнадцать лет, обручилась с одним офицером. Им не пришлось обвенчаться, так как он принял участие в Венгерской кампании и был там убит. Горе моей матушки было чрезвычайное, и она решила никогда не выходить замуж. Но годы шли, и мало-помалу горечь утраты смягчилась. В том русском обществе, где вращалась моя мать, были любительницы сватать (это было в тогдашних обычаях), и вот на одно собрание, собственно для нее, пригласили двух молодых людей, искавших себе невест. Мать моя им чрезвычайно понравилась, но когда ее спросили, понравились ли ей представленные молодые люди, то она ответила: «Нет, мне больше понравился тот “старичок”, который все время рассказывал и смеялся». Она говорила про моего отца. В прежние времена люди за сорок лет считались уже стариками, а папе тогда было уже 42 года (родился в 1799 г.). Папа весело и приятно провел свою молодость, но под влиянием строгой матери жил сдержанно, а потому в 42 года представлял из себя человека здорового, крепкого, румяного, с прекрасными голубыми глазами и цельными зубами, но с порядочно поредевшей шевелюрой. До кончины своей матери папа не предполагал обзаводиться семьей, а потому бывал в обществе в качестве приятного собеседника, но отнюдь не жениха. Его тоже представили моей матери, и она ему очень понравилась, но так как она плохо говорила по-русски, а он плохо по-французски, то разговоры между ними не очень затянулись. Когда же ему передали слова моей мамы, то его очень заинтересовало внимание красивой барышни, и он стал усиленно посещать тот дом, где мог с нею встретиться. Кончилось тем, что они полюбили

друг друга и решили пожениться. По перед ними стояло серьезное препятствие: мама была лютеранкой, а по понятиям папиной православной семьи жены должны были быть одной веры с мужьями. Дошло до того, что папа решился пойти против семьи и жениться, даже если бы пришлось разойтись с некоторыми из ее членов. Мама об этом узнала и, боясь внести раздор в столь дружную семью, долго была в затруднении: перейти ли в православие или отказаться от любимого человека. На ее решение повлияло одно обстоятельство: поздно ночью, когда назавтра ей предстояло дать решительный ответ моему отцу, она долго молилась на коленях перед распятием и просила Господа Бога прийти к ней на помощь. Вдруг, подняв голову, она увидела над распятием яркое сияние, которое осветило всю комнату и затем исчезло. Это явление повторилось еще два раза. Моя мать приняла это за указание свыше решить тяготивший ее вопрос в благоприятном для моего отца смысле. В ту же ночь она увидела сон: будто она вошла в православную церковь и стала молиться у плащаницы. Этот сон был тоже принят ею как указание свыше. Можно представить себе ее изумление, когда две недели спустя, приехав на обряд миропомазания в Симеоновскую (на Моховой) церковь, она увидела, что ее поставили у плащаницы и что окружающая обстановка совершенно та же самая, какую она видела во сне. Это успокоило ее совесть. Сделавшись православной, моя мать стала ревностно исполнять обряды церкви, говела, причащалась, но молитвы на славянском языке ею трудно усваивались, и она молилась по шведскому молитвеннику. Она никогда не раскаивалась в том, что переменила религию, «иначе, – говорила она, – я бы чувствовала себя далеко от мужа и детей, а это было бы мне тяжело».

Прожили мои родители вместе около двадцати пяти лет и жили очень дружно, так как сошлись характерами. Главою дома была моя мать, обладавшая сильною волей; папа добровольно подчинился маме и отвоевал себе лишь одно: свободу разыскивать и покупать на Апраксиной и других рынках (антиквариев тогда было масса) разные редкости и диковинки, а преимущественно ценный фарфор, в котором он понимал толк.

Первые годы своей брачной жизни мои родители прожили вместе с бабушкой и многочисленной семьей. Но когда, лет через пять, бабушка скончалась и семья распалась, моя мать уговорила отца купить дом у Николаевского Сухопутного госпиталя, а вместе с домом громадный участок земли (около двух десятин), занимавший пространство, где теперь Ярославская и Костромская улицы, и выходивший на Малую Болотную улицу до самой фабрики Штиглица.

Первое мое сознательное воспоминание относится к апрелю 1849 года, то есть когда мне было два года восемь месяцев. Во дворе нашего дома был ветхий сарай; мама решила его разрушить и построить новый. Рабочие собрались, сделали, что надо, и оставалось только свалить сарай на землю. Моя мать вышла на стеклянную галерею, чтобы посмотреть издали, как это будут делать, а за нею потянулась моя любопытствующая нянюшка со мною на руках. На беду ломовые извозчики, жившие в глубине двора, замешкались; им кричали, чтобы они скорее проезжали, и они потянулись длинной вереницей. Казалось, что все выехали, но только что артель напрягла все силы, чтобы свалить сарай, как появился запоздавший извозчик. Все поняли, что если он не проскочит, то свалившимся сараем будет, наверное, убит вместе со своею лошадью. Раздался страшный треск падающего сарая и крики ужаса присутствовавших, пыль поднялась столбом, и в первую минуту нельзя было разобрать, не случилось ли беды? К счастью, все обошлось благополучно, но испуганные возгласы мамы и няньки так на меня подействовали, что я закричала благим матом. Когда я впоследствии расспрашивала о том времени, то отец мой, посмотрев хозяйственные книги, удостоверил, что постройка нового сарая была произведена весною 1849 года.

Второе сознательное воспоминание относится к моей болезни, случившейся, когда мне было три года. Не знаю, чем я была больна, но доктор приказал поставить мне на грудь несколько пиявок. Я живо помню, как отвратительны были для меня эти извивающиеся червяки, как я их боялась и как старалась оторвать их от груди. Ясно помню также, как возила

меня моя мама причастить и помолиться перед чудотворной иконой о всех Скорбящей Божией Матери (на Шпалерной). Видя, что мама и няня молятся и плачут, я крестилась и тоже заливалась слезами. На другой день после молебна последовал кризис, и я стала быстро поправляться. Вообще, дети в нашей семье редко хворали. Случались, конечно, кашли, насморки, но все болезни лечились домашними средствами, и все благополучно проходило.

Я вспоминаю мое детство и юность с самым отрадным чувством: отец и мать нас всех очень любили и никогда не наказывали понапрасну. Жизнь в семье была тихая, размеренная, спокойная, без ссор, драм или катастроф. Кормили нас сытно, водили гулять каждый день, и летом мы с утра до вечера сидели в саду; зимой же катались с ледяной горки, там же устроенной. Игрушками нас не баловали, а потому мы их ценили и берегли. Детских книг совсем не было; нас никто не пытался «развивать». Рассказывали нам иногда сказки, преимущественно отец; вернувшись со службы и пообедав, он ложился на диван, звал к себе детвору и принимался рассказывать. Сказка у него была одна: об Иванушке-дурачке, но вариации были бесчисленны, и мы с братом всегда удивлялись: почему Иванушку называют дурачком, раз он так умно умеет выпутываться из всевозможных бед. Удовольствия доставлялись нам редко: елка на Рождество, зажигавшаяся каждый вечер, домашнее переряжение; на Масленой нас возили на балаганы и катали на санках. Два раза в год – перед Рождеством и на святки ездили в театр, преимущественно в оперу или балет. Но эти редкие удовольствия нами чрезвычайно ценились, и мы целыми месяцами находились под очарованием виденного нами спектакля. <…>

II. Образование

Скажу несколько слов о своем образовании. С девяти до двенадцати лет я ходила в Училище св. Анны (на Кирочной улице). Преподавание всех предметов (кроме закона Божия) шло на немецком языке, и знание этого языка пригодилось мне впоследствии, когда пришлось провести с мужем несколько лет за границей. В 1858 году в столице открылась первая женская гимназия (Мариинская), и осенью я поступила туда во второй класс. Учиться мне было легко, и при переходе в 3-й и 4-й классы я получала в награду книги, а при окончании курса в 1864 году – большую серебряную медаль. За год перед тем были открыты Н. А. Вышнеградским Педагогические курсы, в которые поступали желающие продолжать свое образование. Осенью 1864 года я тоже поступила на курсы. В то время в обществе существовало увлечение естественными науками; я поддалась течению: физика, химия, зоология представлялись мне каким-то «откровением», и я поступила на физико-математическое отделение курсов. Вскоре, однако, я убедилась, что выбрала не то, что соответствовало моим наклонностям, и что мои занятия имеют лишь печальный результат: при опытах кристаллизации солей, например, я больше занималась чтением романов, чем наблюдением за колбами и ретортами, и они жестоко страдали; пока читались лекции по зоологии, я ими интересовалась, но когда перешли к практическим занятиям и при мне стали препарировать мертвую кошку, я, к большому моему конфузу, от отвращения упала в обморок. Из этого года занятий мне особенно запомнились лишь талантливые лекции по русской литературе профессора В. В. Никольского, на которых сходились слушательницы обоих отделений.

Летом 1865 года выяснилось прискорбное для меня обстоятельство, что болезнь моего отца не поддается лечению и что ему недолго осталось жить. Тогда я, жалея оставлять моего дорогого больного одного на целые дни, решила на время покинуть курсы. Так как папа страдал бессонницей, то я целыми часами читала ему романы Диккенса и была очень довольна, если он, под мое монотонное чтение, имел возможность немного заснуть.

В начале 1866 года появилось объявление о Курсах стенографии, которые будет читать П. М. Ольхин, в здании 6-й мужской гимназии. Узнав, что лекции предполагаются по вечерам (когда мой дорогой отец уже уходил на покой), я решила поступить на Курсы стенографии.

Об этом особенно настаивал отец, очень жалевший, что я из-за его болезни оставила Педагогические курсы. Сначала стенография мне решительно не удалась, и после 5-й или 6-й лекции я пришла к убеждению, что это для меня тарабарская грамота, которую мне ни за что не осилить. Когда я сказала об этом папе, он был очень возмущен: упрекал меня в недостатке терпения, настойчивости и взял с меня слово, что я буду продолжать занятия, выражал свою уверенность, что из меня выработается хороший стенограф. Мой добрый отец точно провидел, что благодаря стенографии я найду свое счастье.

Двадцать восьмого апреля 1866 года последовала кончина моего отца. Это было первое несчастие, которое я испытала в моей жизни. Горе мое выражалось бурно: я много плакала, целые дни проводила на Большой Охте, на могиле покойного, и не могла примириться с тяжелою утратою. Моя мама была встревожена моим тяжелым настроением и умоляла меня приняться за какой-нибудь труд. К сожалению, лекции стенографии уже прекратились, но добрый П. М. Ольхин, наш учитель, узнав о моем горе и пропуске мною многих уроков, предложил заменить их стенографическою с ним перепиской. Два раза в неделю я должна была посылать ему две или три страницы определенной книги, написанных мною стенографически. Ольхин возвращал мне стенограммы, исправив замеченные им ошибки. Благодаря этой переписке, длившейся в течение трех летних месяцев, я очень успела в стенографии, тем более что мой брат, приехавший на каникулы, диктовал мне почти ежедневно по часу и более, так что я мало-помалу усвоила, кроме правильности стенографического письма, и скорость его. Вот почему, когда в сентябре 1866 года, вновь открылись курсы, я оказалась единственною ученицею Ольхина, которую он с доверием мог рекомендовать для литературной работы. <…>

Часть вторая. Знакомство с Достоевским. Замужество

I

Третьего октября 1866 года, около семи часов вечера, я, по обыкновению, пришла в 6-ю мужскую гимназию, где преподаватель стенографии П. М. Ольхин читал свою лекцию. Она еще не началась: поджидали опоздавших. Я села на свое обычное место и только что принялась раскладывать тетради, как ко мне подошел Ольхин и, сев рядом на скамейку, сказал:

– Анна Григорьевна, не хотите ли получить стенографическую работу? Мне поручено найти стенографа, и я подумал, что, может быть, вы согласитесь взять эту работу на себя.

– Очень хочу, – ответила я, – давно мечтаю о возможности работать. Сомневаюсь только, достаточно ли знаю стенографию, чтобы принять на себя ответственное занятие.

Ольхин меня успокоил. По его мнению, предлагаемая работа не потребует большей скорости письма, чем та, какою я владею.

– У кого же предполагается стенографическая работа? – заинтересовалась я.

– У писателя Достоевского. Он теперь занят новым романом[2] и намерен писать его при помощи стенографа. Достоевский думает, что в романе будет около семи печатных листов большого формата, и предлагает за весь труд пятьдесят рублей.

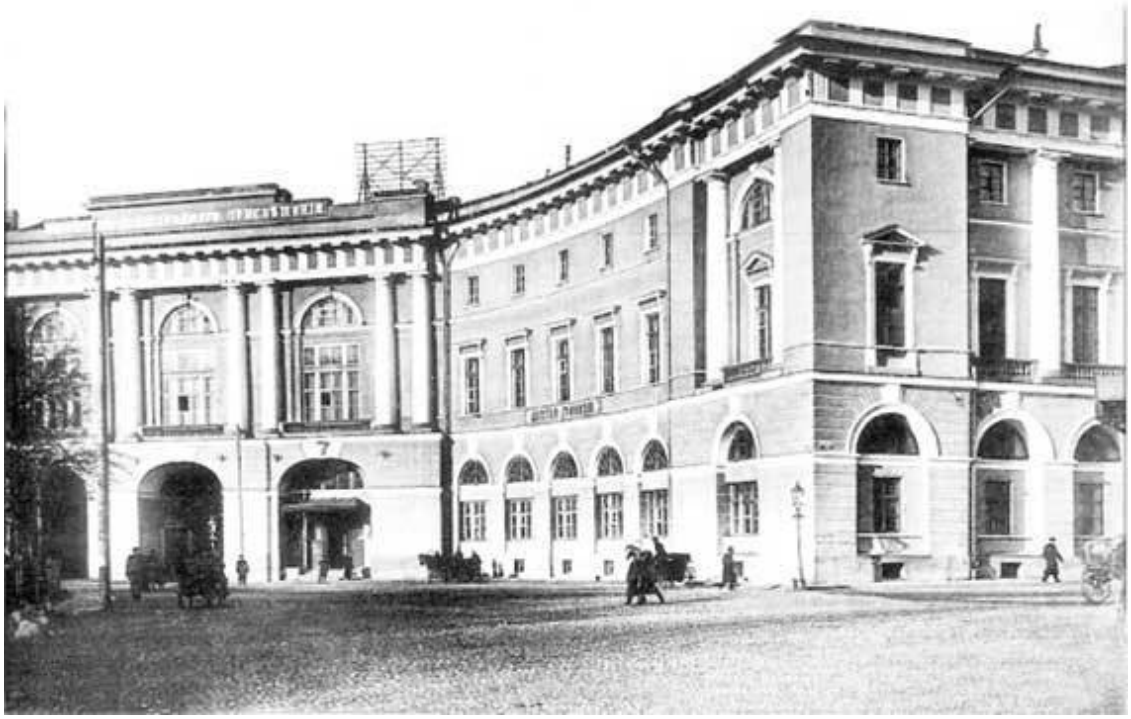
Я поспешила согласиться. Имя Достоевского было знакомо мне с детства: он был любимым писателем моего отца. Я сама восхищалась его произведениями и плакала над «Записками из Мертвого дома». Мысль не только познакомиться с талантливым писателем, но и помогать ему в его труде чрезвычайно меня взволновала и обрадовала.

Ольхин передал мне небольшую, вчетверо сложенную бумажку, на которой было написано: «Столярный переулок, угол М. Мещанской, дом Алонкина, кв. № 13, спросить Достоевского» – и сказал:

– Я прошу вас прийти к Достоевскому завтра, в половине двенадцатого, «не раньше, не позже», как он мне сам сегодня назначил. – Тут же Ольхин высказал мне свое мнение о Достоевском, о чем упомяну при дальнейшем рассказе.

Ольхин посмотрел на часы и взошел на кафедру. Должна признаться, что лекция на этот раз совершенно для меня пропала: я была взволнована и полна радостных чувств. Моя заветная мечта осуществлялась: я получила работу! Если уж Ольхин, такой требовательный и строгий, нашел, что я достаточно знаю стенографию и достаточно скоро пишу, – значит, это правда, иначе он не предоставил бы мне работу. Это чрезвычайно меня обрадовало и возвысило в собственных глазах. Я чувствовала, что вышла на новую дорогу, могу зарабатывать своим трудом деньги, становлюсь независимой, а идея независимости для меня, девушки шестидесятых годов, была самою дорогою идеей. Но еще приятнее и важнее предложенного занятия представлялась мне возможность работать у Достоевского и познакомиться лично с этим писателем.

[2] Имеется в виду роман «Игрок».



Шестая Санкт-Петербургская гимназия – среднее учебное заведение в Санкт-Петербурге, мужская гимназия с филологическим уклоном. Была открыта в 1862 г. Здесь А. Г. Достоевская (Сниткина) обучалась на курсах стенографии

Вернувшись домой, я обо всем подробно рассказала моей матери. Она тоже была чрезвычайно довольна моей удачей. От радости и волнения я почти всю ночь не спала и все представляла себе Достоевского. Считая его современником моего отца, я полагала, что он уже очень пожилой человек. Он рисовался мне то толстым и лысым стариком, то высоким и худым, но непременно суровым и хмурым, каким нашел его Ольхин. Всего более волновалась я о том, как буду с ним говорить. Достоевский казался мне таким ученым, таким умным, что я заранее трепетала за каждое сказанное мною слово. Смущала меня также мысль, что я не твердо помню имена и отчества героев его романов, а я была уверена, что он непременно будет о них говорить. Никогда не встречаясь в своем кругу с выдающимися литераторами, я представляла их какими-то особенными существами, с которыми и говорить-то следовало особенным образом. Вспоминая те времена, вижу, каким малым ребенком была я тогда, несмотря на мои двадцать лет.

II

Четвертого октября, в знаменательный день первой встречи с будущим моим мужем, я проснулась бодрая, в радостном волнении от мысли, что сегодня осуществится давно лелеянная мною мечта: из школьницы или курсистки стать самостоятельным деятелем на выбранном мною поприще.

Я вышла пораньше из дому, чтобы зайти предварительно в Гостиный двор и запастись там добавочным количеством карандашей, а также купить себе маленький портфель, который, по моему мнению, мог придать большую деловитость моей юношеской фигуре. Закончила я свои покупки к одиннадцати часам и, чтобы не прийти к Достоевскому «не раньше, не позже» (Это было обычным выражением Федора Михайловича, который, не желая терять времени в ожидании кого-либо, любил назначать точный час свидания и всегда прибавлял при этом: «Не

раньше, не позже». – Прим. А. Г. Достоевской.) назначенного времени, замедленными шагами пошла по Большой Мещанской и Столярному переулку, беспрестанно посматривая на свои часики. В двадцать пять минут двенадцатого я подошла к дому Алонкина и у стоявшего в воротах дворника спросила, где квартира № 13. Он показал мне направо, где под воротами был вход на лестницу. Дом был большой, со множеством мелких квартир, населенных купцами и ремесленниками. Он мне сразу напомнил тот дом в романе «Преступление и наказание», в котором жил герой романа Раскольников.

Квартира № 13 находилась на втором этаже. Я позвонила, и мне тотчас отворила дверь пожилая служанка в накинутом на плечи зеленом в клетку платке. Я так недавно читала «Преступление», что невольно подумала, не является ли этот платок прототипом того драдедамового платка, который играл такую большую роль в семье Мармеладовых. На вопрос служанки, кого мне угодно видеть, я ответила, что пришла от Ольхина и что ее барин предупрежден о моем посещении.

Не успела я снять свой башлык, как дверь в прихожую распахнулась, и на фоне ярко освещенной комнаты показался молодой человек, сильный брюнет, со взлохмаченными волосами, с раскрытой грудью и в туфлях. Увидав незнакомое лицо, он вскрикнул и мигом исчез в боковую дверь[3].

Служанка пригласила меня в комнату, которая оказалась столовою. Обставлена она была довольно скромно: по стенам стояли два больших сундука, прикрытых небольшими коврами. У окна находился комод, украшенный белой вязаной покрышкой. Вдоль другой стены стоял диван, а над ним висели стенные часы. Я с удовольствием заметила, что на них в ту минуту было ровно половина двенадцатого.

Служанка просила меня сесть, сказав, что барин сейчас придет. Действительно, минуты через две появился Федор Михайлович, пригласил меня пройти в кабинет, а сам ушел, как оказалось потом, чтобы приказать подать нам чаю.

Кабинет Федора Михайловича представлял собою большую комнату в два окна, в тот солнечный день очень светлую, но в другое время производившую тяжелое впечатление: в ней было сумрачно и безмолвно; чувствовалась какая-то подавленность от этого сумрака и тишины.

В глубине комнаты стоял мягкий диван, крытый коричневой, довольно подержанной материей; перед ним круглый стол с красной суконной салфеткой. На столе лампа и два-три альбома; кругом мягкие стулья и кресла. Над диваном в ореховой раме висел портрет чрезвычайно сухощавой дамы в черном платье и таком же чепчике. «Наверно, жена Достоевского», – подумала я, не зная его семейного положения.

Между окнами стояло большое зеркало в черной раме. Так как простенок был значительно шире зеркала, то, для удобства, оно было придвинуто ближе к правому окну, что было очень некрасиво. Окна украшались двумя большими китайскими вазами прекрасной формы. Вдоль стены стоял большой диван зеленого сафьяна и около него столик с графином воды. Напротив, поперек комнаты, был выдвинут письменный стол, за которым я потом всегда сидела, когда Федор Михайлович мне диктовал. Обстановка кабинета была самая заурядная, какую я видала в семьях небогатых людей.

Я сидела и прислушивалась. Мне все казалось, что вот сейчас я услышу крик детей или шум детского барабана; или отворится дверь и войдет в кабинет та сухощавая дама, портрет которой я только что рассматривала.

Но вот вошел Федор Михайлович и, извинившись, что его задержали, спросил меня:

– Давно ли вы занимаетесь стенографией?

– Всего полгода.

[3] Речь идет о пасынке Ф. М. Достоевского, сыне его первой жены М. Д. Исаевой – Павле Александровиче Исаеве.

– А много ли учеников у вашего преподавателя?

– Сначала записалось более ста пятидесяти желающих, а теперь осталось около двадцати пяти.

– Почему же так мало?

– Да многие думали, что стенографии очень легко научиться, а как увидали, что в несколько дней ничего не сделаешь, то и бросили занятия.

– Это у нас в каждом новом деле так, – сказал Федор Михайлович, – с жаром примутся, потом быстро охладевают и бросают дело. Видят, что надо трудиться, а трудиться теперь кому же охота?

С первого взгляда Достоевский показался мне довольно старым. Но лишь только заговорил, сейчас же стал моложе, и я подумала, что ему навряд ли более тридцати пяти – семи лет. Он был среднего роста и держался очень прямо. Светло-каштановые, слегка даже рыжеватые волосы были сильно напомажены и тщательно приглажены. Но что меня поразило, так это его глаза; они были разные: один – карий, в другом зрачок расширен во весь глаз и радужины незаметно (Во время приступа эпилепсии Федор Михайлович, падая, наткнулся на какой-то острый предмет и сильно поранил свой правый глаз. Он стал лечиться у проф. Юнге, и тот предписал впускать в глаз капли атропина, благодаря чему зрачок сильно расширился. – Прим. А. Г. Достоевской.). Эта двойственность глаз придавала взгляду Достоевского какое-то загадочное выражение. Лицо Достоевского, бледное и болезненное, показалось мне чрезвычайно знакомым, вероятно потому, что я раньше видела его портреты. Одет он был в суконный жакет синего цвета, довольно подержанный, но в белоснежном белье (воротничке и манжетах).

Через пять минут вошла служанка и принесла два стакана очень крепкого, почти черного чаю. На подносе лежали две булочки. Я взяла стакан. Мне не хотелось чаю, к тому же в комнате было жарко, но чтобы не показаться церемонной, я принялась пить. Сидела я у стены перед небольшим столиком, а Достоевский то садился за свой письменный стол, то расхаживал по комнате и курил, часто гася папиросу и закуривая новую. Предложил он и мне курить. Я отказалась.

– Может быть, вы из вежливости отказываетесь? – сказал он.

Я поспешила его уверить, что не только не курю, но даже не люблю видеть, когда курят дамы.

Разговор шел отрывочный, причем Достоевский то и дело переходил на новую тему. Он имел разбитый и больной вид. Чуть ли не с первых фраз заявил он, что у него эпилепсия и на днях был припадок, и эта откровенность меня очень удивила. О предстоящей работе Достоевский говорил как-то неопределенно:

– Мы посмотрим, как это сделать, мы попробуем, мы увидим, возможно ли это?

Мне начало казаться, что навряд ли наша совместная работа состоится. Даже пришло в голову, что Достоевский сомневается в возможности и удобстве для него этого способа работы и, может быть, готов отказаться. Чтобы ему помочь в решении, я сказала:

– Хорошо, попробуем, но если вам при моей помощи работать будет неудобно, то прямо скажите мне об этом. Будьте уверены, что я не буду в претензии, если работа не состоится.

Достоевский захотел продиктовать мне из «Русского вестника» и просил перевести стенограмму на обыкновенное письмо. Начал он чрезвычайно быстро, но я его остановила и просила диктовать не скорее обыкновенной разговорной речи.

Затем я стала переводить стенографическую запись на обыкновенную и довольно скоро переписала, но Достоевский все торопил меня и ужасался, что я слишком медленно переписываю.

– Да ведь переписывать продиктованное я буду дома, а не здесь, – успокаивала я его, – не все ли вам равно, сколько времени возьмет у меня эта работа?

Просматривая переписанное, Достоевский нашел, что я пропустила точку и неясно поставила твердый знак, и резко мне об этом заметил. Он был, видимо, раздражен и не мог собраться с мыслями. То спрашивал, как меня зовут, и тотчас забывал, то принимался ходить по комнате, ходил долго, как бы забыв о моем присутствии. Я сидела, не шевелясь, боясь нарушить его раздумье.

Наконец Достоевский сказал, что диктовать он сейчас решительно не в состоянии, а что не могу ли я прийти к нему сегодня же часов в восемь. Тогда он и начнет диктовать роман. Для меня было очень неудобно приходить во второй раз, но, не желая откладывать работы, я на это согласилась.

Прощаясь со мною, Достоевский сказал:

– Я был рад, когда Ольхин предложил мне девицу-стенографа, а не мужчину, и знаете почему?

– Почему же?

– Да потому, что мужчина, уж наверно бы, запил, а вы, я надеюсь, не запьете?

Мне стало ужасно смешно, но я сдержала улыбку.

– Уж я-то наверно не запью, в этом вы можете быть уверены, – серьезно ответила я.

III

Я вышла от Достоевского в очень печальном настроении. Он мне не понравился и оставил тяжелое впечатление. Я думала, что навряд ли сойдусь с ним в работе, и мечты мои о независимости грозили рассыпаться прахом… Мне это было тем больнее, что вчера моя добрая мама так радовалась началу моей новой деятельности.

Было около двух часов, когда я ушла от Достоевского. Ехать домой было слишком далеко: я жила под Смольным, на Костромской улице, в доме моей матери Анны Николаевны Сниткиной. Я решила пойти к одним родственникам, жившим в Фонарном переулке, пообедать у них и вечером вернуться к Достоевскому.

Родственники мои очень заинтересовались моим новым знакомым и стали подробно расспрашивать о Достоевском. Время быстро прошло в разговорах, и к восьми часам я уже подходила к дому Алонкина. Отворившую мне дверь служанку я спросила, как зовут ее барина. Из подписи под его произведениями я знала, что его имя Федор, но не знала его отчества. Федосья (так звали служанку) опять попросила меня подождать в столовой и пошла доложить о моем приходе. Вернувшись, она пригласила меня в кабинет. Я поздоровалась с Федором Михайловичем и села на мое давешнее место около небольшого столика. Но Федору Михайловичу это не понравилось, и он предложил мне пересесть за его письменный стол, уверяя, что мне будет на нем удобнее писать. Признаюсь, что я почувствовала себя чрезвычайно польщенной его предложением заниматься за тем столом, где еще недавно было написано такое талантливое произведение, как роман «Преступление и наказание».

Я пересела, а Федор Михайлович занял мое место у столика. Он опять осведомился о моем имени и фамилии и спросил, не прихожусь ли я родственницей недавно скончавшемуся молодому и талантливому писателю Сниткину. Я ответила, что это однофамилец. Он стал расспрашивать, из кого состоит моя семья, где я училась, что заставило меня заняться стенографией и пр.

На все вопросы я отвечала просто, серьезно, почти сурово, как уверял меня потом Федор Михайлович. Я давно уже решила, в случае, если придется стенографировать в частных домах, с первого раза поставить свои отношения к малознакомым мне лицам на деловой тон, избегая фамильярности, чтобы никому не могло прийти желание сказать мне лишнее или вольное слово. Я, кажется, даже ни разу не улыбнулась, говоря с Федором Михайловичем, и моя серьезность ему очень понравилась. Он признавался мне потом, что был приятно поражен моим

уменьем себя держать. Он привык встречать в обществе нигилисток и видеть их обращение, которое его возмущало. Тем более был он рад встретить во мне полную противоположность господствовавшему тогда типу молодых девушек.

Тем временем Федосья приготовила в столовой чай и принесла нам два стакана, две булочки и лимон. Федор Михайлович вновь предложил мне курить и стал угощать меня грушами.

За чаем беседа наша приняла еще более искренний и добродушный тон. Мне вдруг показалось, что я давно уже знаю Достоевского, и на душе стало легко и приятно.

Почему-то разговор коснулся петрашевцев и смертной казни. Федор Михайлович увлекся воспоминаниями.

– Помню, – говорил он, – как стоял на Семеновском плацу среди осужденных товарищей и, видя приготовления, знал, что мне остается жить всего пять минут. Но эти минуты представлялись мне годами, десятками лет, так, казалось, предстояло мне долго жить! На нас уже надели смертные рубашки и разделили по трое, я был восьмым, в третьем ряду[4]. Первых трех привязали к столбам. Через две-три минуты оба ряда были бы расстреляны, и затем наступила бы наша очередь. Как мне хотелось жить, господи боже мой! Как дорога казалась жизнь, сколько доброго, хорошего мог бы я сделать! Мне припомнилось все мое прошлое, не совсем хорошее его употребление, и так захотелось все вновь испытать и жить долго, долго… Вдруг послышался отбой, и я ободрился. Товарищей моих отвязали от столбов, привели обратно и прочитали новый приговор: меня присудили на четыре года в каторжную работу. Не запомню другого такого счастливого дня! Я ходил по своему каземату в Алексеевском равелине и все пел, громко пел, так рад был дарованной мне жизни! Затем допустили брата проститься со мною перед разлукой и накануне Рождества Христова отправили в дальний путь. Я сохраняю письмо, которое написал покойному брату в день прочтения приговора, мне недавно вернул письмо племянник[5].

Рассказ Федора Михайловича произвел на меня жуткое впечатление: у меня прошел мороз по коже. Но меня чрезвычайно поразило и то, что он так откровенен со мной, почти девочкой, которую он увидел сегодня в первый раз в жизни. Этот по виду скрытный и суровый человек рассказывал мне прошлую жизнь свою с такими подробностями, так искренно и задушевно, что я невольно удивилась. Только впоследствии, познакомившись с его семейною обстановкою, я поняла причину этой доверчивости и откровенности: в то время Федор Михайлович был совершенно одинок и окружен враждебно настроенными против него лицами[6]. Он слишком чувствовал потребность поделиться своими мыслями с людьми, в которых ему чудилось доброе и внимательное отношение. Откровенность эта в тот первый день моего с ним знакомства чрезвычайно мне понравилась и оставила чудесное впечатление.

Разговор наш переходил с одной темы на другую, а работать мы все еще не начинали. Меня это беспокоило: становилось поздно, а мне далеко было возвращаться. Матери моей я обещала вернуться домой прямо от Достоевского и теперь боялась, что она станет обо мне беспокоиться. Мне казалось неудобным напомнить Федору Михайловичу о цели моего прихода к нему, и я очень обрадовалась, когда он сам о ней вспомнил и предложил мне начать диктовать. Я приготовилась, а Федор Михайлович принялся ходить по комнате довольно быстрыми

---

[4] Чтение приговора петрашевцам о смертной казни состоялось 22 декабря 1849 г. на Семеновском плацу в Петербурге. В момент произнесения команды к расстрелу первый ряд осужденных был привязан к столбу. Как писал в день казни Ф. М. Достоевский в письме к брату, он вместе с С. Ф. Дуровым и А. Н. Плещеевым находился во втором ряду. В первом ряду стояли М. В. Петрашевский, Н. А. Момбелли и Н. П. Григорьев.

[5] Письмо от 22 декабря 1849 г., которое вернул Ф. М. Достоевскому сын М. М. Достоевского, Михаил Михайлович Достоевский младший.

[6] После смерти М. Д. Исаевой и М. М. Достоевского Ф. М. Достоевский был действительно «совершенно одинок и окружен» кредиторами по журналам «Время» и «Эпоха».

шагами, наискось от двери к печке, причем, дойдя до нее, непременно стучал об нее два раза. При этом он курил, часто меняя и бросая недокуренную папиросу в пепельницу, стоявшую на кончике письменного стола.

Продиктовав несколько времени, Федор Михайлович попросил меня прочесть ему написанное и с первых же слов меня остановил:

– Как «воротилась из Рулетенбурга»[7]? Разве я говорил про Рулетенбург?

– Да, Федор Михайлович, вы продиктовали это слово.

– Не может быть!

– Позвольте, имеется ли в вашем романе город с таким названием?

– Да. Действие происходит в игорном городе, который я назвал Рулетенбургом.

– А если имеется, то вы, несомненно, это слово продиктовали, иначе откуда бы я могла его взять?

– Вы правы, – сознался Федор Михайлович, – я что-то напутал.

Я была очень довольна, что недоразумение разъяснилось. Думаю, что Федор Михайлович был слишком поглощен своими мыслями, а может быть, за день очень устал, оттого и произошла ошибка. Он, впрочем, и сам это почувствовал, так как сказал, что не в состоянии больше диктовать, и просил принести продиктованное завтра к двенадцати часам. Я обещала исполнить его просьбу.

Пробило одиннадцать, и я собралась уходить. Узнав, что я живу на Песках, Федор Михайлович сказал, что ему ни разу еще не приходилось бывать в этой части города и он не имеет понятия, где находятся Пески. Если это далеко, то он может послать свою прислугу проводить меня. Я, разумеется, отказалась. Федор Михайлович проводил меня до двери и велел Федосье посветить мне на лестнице.

Дома я с восторгом рассказала маме, как откровенен и добр был со мною Достоевский, но, чтобы ее не огорчать, скрыла то тяжелое, никогда еще не испытанное мною впечатление, которое осталось у меня от всего этого так интересно проведенного дня. Впечатление же было поистине угнетающее: в первый раз в жизни я видела человека умного, доброго, но несчастного, как бы всеми заброшенного, и чувство глубокого сострадания и жалости зародилось в моем сердце…

Я была очень утомлена и поскорее легла в постель, прося разбудить меня пораньше, чтобы успеть переписать все продиктованное и доставить его Федору Михайловичу в назначенный час.

IV

На другой день я встала рано и тотчас принялась за работу. Продиктовано было сравнительно немного, но мне хотелось красивее и отчетливее переписать, и это заняло время. Как я ни спешила, но опоздала на целых полчаса.

Федора Михайловича я нашла в большом волнении.

– Я уже начинал думать, – сказал он, здороваясь, – что работа у меня показалась вам тяжелою и вы больше не придете. Между тем я вашего адреса не записал и рисковал потерять то, что вчера было продиктовано.

– Мне очень совестно, что я так запоздала, – извинялась я, – но уверяю вас, что если бы мне пришлось отказаться от работы, то я, конечно, уведомила бы вас и доставила бы продиктованный оригинал.

---

[7] Роман «Игрок» первоначально был назван «Рулетенбург». Впоследствии начало было переделано и сказано: «Наконец, я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже три дня как были в Рулетенбурге». – Прим. А. Г. Достоевской.

– Я оттого так беспокоюсь, – объяснял Федор Михайлович, – что мне необходимо написать этот роман к первому ноября, а между тем я не составил даже плана нового романа. Знаю лишь, что ему следует быть не менее семи листов издания Стелловского.

Я стала расспрашивать подробности, и Федор Михайлович объяснил мне поистине возмутительную ловушку, в которую его поймали.

По смерти своего старшего брата Михаила Федор Михайлович принял на себя все долги по журналу «Время»[8], издававшемуся его братом. Долги были вексельные, и кредиторы страшно беспокоили Федора Михайловича, грозя описать его имущество, а самого посадить в долговое отделение. В те времена это было возможно сделать.

Неотложных долгов было тысяч до трех. Федор Михайлович всюду искал денег, но без благоприятного результата. Когда все попытки уговорить кредиторов оказались напрасными и Федор Михайлович был доведен до отчаяния, к нему неожиданно явился издатель Ф. Т. Стелловский с предложением купить за три тысячи права на издание полного собрания сочинений в трех томах. Мало того, Федор Михайлович обязан был в счет той же суммы написать новый роман.

Положение Федора Михайловича было критическое, и он согласился на все условия контракта, лишь бы избавиться от угрожавшего ему лишения свободы.

Условие было заключено (летом) 186(5) года, и Стелловский внес у нотариуса условленную сумму. Эти деньги на другой же день были уплачены кредиторам; таким образом, Федору Михайловичу не досталось ничего на руки. Обиднее же всего было то, что через несколько дней все эти деньги вновь вернулись к Стелловскому. Оказалось, что он скупил за бесценок векселя Федора Михайловича и через двух подставных лиц взыскивал с него деньги. Стелловский был хитрый и ловкий эксплуататор наших литераторов и музыкантов (Писемского, Крестовского, Глинки)[9]. Он умел подстерегать людей в тяжелые минуты и ловить их в свои сети. Цена три тысячи за право издания была слишком незначительна ввиду того успеха, который имели романы Достоевского. Самое же тяжелое условие заключалось в обязательстве доставить новый роман к 1 ноября 1866 года. В случае недоставления к сроку Федор Михайлович платил бы большую неустойку; если же не доставил бы роман и к 1 декабря того же года, то терял бы права на свои сочинения, которые перешли бы навсегда в собственность Стелловского. Разумеется, хищник на это и рассчитывал.

Федор Михайлович в 1866 году поглощен был работою над романом «Преступление и наказание» и хотел закончить его художественно. Где же было ему, больному человеку, написать еще столько листов нового произведения?

[8] Долги по журналу «Эпоха» (а не «Время») остались после прекращения журнала, издававшегося в 1864–1865 гг. вместо запрещенного (в апреле 1863 г.) журнала «Время». После смерти М. М. Достоевского (в июле 1864 г.) Ф. М. Достоевский принял на себя ведение «Эпохи». Как сообщает Достоевский в письме к А. Е. Врангелю от 31 марта 1865 г., за журналом было тридцать три тысячи долга.

[9] А. Г. Достоевская имеет в виду издание Ф. Т. Стелловским произведений А. Ф. Писемского и В. В. Крестовского на весьма невыгодных для них условиях, а также покупку Стелловским всего за 25 рублей сочинений М. И. Глинки у его сестры Л. И. Шестаковой в 1861 г. В 1866 г. между Стелловским и Шестаковой начался долгий судебный процесс по вопросу о выполнении договора (отчеты о процессе печатались в газ. «Голос», 1867, № 136; «Петербургские ведомости», 1867, № 108, 136). По этому поводу Достоевский писал о Стелловском А. Н. Майкову 19 марта (1 апреля) 1871 г.: «Денег у него столько, что он купит всю русскую литературу, если захочет. У того ли человека не быть денег, который всего Глинку купил за 25 целковых»

Федор Михайлович Достоевский (1821–1881 гг.) – русский писатель, мыслитель, философ, публицист. Классик русской литературы, считается первым представителем персонализма в России. 1863 г.

Вернувшись осенью из Москвы, Федор Михайлович пришел в отчаяние от невозможности в какие-нибудь полтора-два месяца выполнить условия заключенного со Стелловским контракта. Друзья Федора Михайловича – А. Н. Майков, А. П. Милюков, И. Г. Долгомостьев[10]

[10] Об А. Н. Майкове, А. П. Милюкове и И. Г. Долгомостьеве см. примечания 37, 39, 189 к стр. 112, 115, 280.

и другие, желая выручить его из беды, предлагали ему составить план романа. Каждый из них взял бы на себя часть романа, и втроем-вчетвером они успели бы кончить работу к сроку; Федору же Михайловичу оставалось бы только проредактировать роман и сгладить неизбежные при такой работе шероховатости. Федор Михайлович отказался от этого предложения: он решил лучше уплатить неустойку или потерять литературные права, чем поставить свое имя под чужим произведением[11]. Тогда друзья стали советовать Федору Михайловичу обратиться к помощи стенографа. А. П. Милюков припомнил, что ему знаком преподаватель стенографии П. М. Ольхин, съездил к нему и попросил побывать у Федора Михайловича, который, хоть и сильно сомневался в успехе для него подобной работы, тем не менее, ввиду близости срока, решился прибегнуть к помощи стенографа.

Как ни мало я знала в то время людей, но образ действий Стелловского меня чрезвычайно возмутил.

Подали чай, и Федор Михайлович принялся мне диктовать. Ему, видимо, трудно было втянуться в работу: он часто останавливался, обдумывал, просил прочесть продиктованное и через час объявил, что утомился и хочет отдохнуть.

Начался разговор, как и вчера. Федор Михайлович был встревожен и переходил от одного сюжета к другому. Опять спросил, как меня зовут, и через минуту забыл. Раза два предложил мне папиросу, хотя уже слышал, что я не курю.

Я стала расспрашивать его о наших писателях, и он оживился. Отвечая на мои вопросы, он как бы отвлекся от своих неотвязных дум и говорил спокойно, даже весело. Кое-что я запомнила из его тогдашнего разговора.

Некрасова Федор Михайлович считал другом своей юности и высоко ставил его поэтический дар. Майкова он любил не только как талантливого поэта, но и как умнейшего и прекраснейшего из людей. О Тургеневе отзывался как о первостепенном таланте. Жалел лишь, что он, живя долго за границей, стал меньше понимать Россию и русских людей.

После небольшого отдыха мы вновь принялись за работу. Федор Михайлович стал опять раздражаться и тревожиться: работа, видимо, ему не удавалась. Объясняю это непривычкою диктовать свое произведение малознакомому лицу.

Около четырех часов я собралась уходить, обещая завтра к двенадцати часам принести продиктованное. На прощанье Федор Михайлович вручил мне стопку плотной почтовой бумаги с едва заметными линейками, на которой он обычно писал, и указал, какие именно следует оставлять на ней поля.

V

Так началась и продолжалась наша работа. Я приходила к Федору Михайловичу к двенадцати часам и оставалась до четырех. В течение этого времени мы раза три диктовали по получасу и более, а между диктовками пили чай и разговаривали. Я стала с радостью замечать, что Федор Михайлович начинает привыкать к новому для него способу работы и с каждым моим приходом становится спокойнее. Это сделалось особенно заметным с того времени, когда, сосчитав, сколько моих исписанных страниц составляют одну страницу издания Стелловского, я могла точно определить, сколько мы уже успели продиктовать. Все прибавлявшееся количество страниц чрезвычайно ободряло и радовало Федора Михайловича. Он часто меня спрашивал: «А сколько страниц мы вчера написали? А сколько у нас в общем сделано? Как думаете, кончим к сроку?»

Дружески со мной разговаривая, Федор Михайлович каждый день раскрывал передо мною какую-нибудь печальную картину своей жизни. Глубокая жалость невольно закрадыва-

[11] Об этом А. П. Милюков упоминает в своих воспоминаниях (Исторический вестник. 1881). – Прим. А. Г. Достоевской.

лась в мое сердце при его рассказах о тяжелых обстоятельствах, из которых он, по-видимому, никогда не выходил, да и выйти не мог.

Сначала мне казалось странным, что я не видела никого из его домашних. Я не знала, из кого состоит его семья и где она теперь находится. Только одного члена его семьи я встретила, кажется, в четвертый мой приход. Кончив работу, я выходила из ворот дома, как меня остановил какой-то молодой человек, в котором я узнала юношу, виденного мною в передней в первое мое посещение Федора Михайловича. Вблизи он показался мне еще некрасивее, чем издали. У него было смуглое, почти желтое лицо, черные глаза с желтыми белками и пожелтевшие от табака зубы.

– Вы меня не узнали? – развязно спросил меня молодой человек. – Я видел вас у папа. Мне не хочется входить во время ваших занятий, но мне любопытно бы знать, что это за штука стенография, тем более что я сам начну изучать ее на днях. Позвольте. – И он бесцеремонно взял из моих рук портфель, раскрыл его и тут же на улице стал рассматривать стенограмму. Я так растерялась от подобной бесцеремонности, что не протестовала.

– Курьезная штука, – небрежно протянул он, возвращая портфель. «Неужели у такого милого и доброго человека, как Федор Михайлович, может быть такой невоспитанный сын», – подумала я.

Федор Михайлович с каждым днем относился ко мне все сердечнее и добрее. Он часто называл меня «голубчиком» (его любимое ласкательное название), «доброй Анной Григорьевной», «милочкой», и я относила эти слова к его снисходительности ко мне как к молодой девушке, почти что девочке. Мне так приятно было облегчать его труд и видеть, как мои уверения, что работа идет успешно и что роман поспеет вовремя, радовали Федора Михайловича и поднимали в нем дух. Я очень гордилась про себя, что не только помогаю в работе любимому писателю, но и действую благотворно на его настроение. Все это возвышало меня в собственных глазах.

Я перестала бояться «известного писателя» и говорила с ним свободно и откровенно, как с дядей или старым другом. Я расспрашивала Федора Михайловича о разных событиях его жизни, и он охотно удовлетворял мое любопытство. Рассказывал подробно о своем восьмимесячном заключении в Петропавловской крепости, о том, как переговаривался через стену стуками с другими заключенными[12]. Говорил о своей жизни в каторге, о преступниках, одновременно с ним отбывавших свое наказание. Вспоминал о заграница, о своих путешествиях и встречах; о московских родных, которых очень любил[13]. Сообщил мне как-то, что был женат, что жена его умерла три года тому назад, и показал ее портрет[14]. Он мне не понравился: покойная Достоевская, по его словам, снималась тяжко больной, за год до смерти, и имела страшный, почти мертвый вид. Тогда же я с удовольствием узнала, что бесцеремонный молодой человек, который мне так не понравился, не сын Федора Михайловича, а его пасынок, сын его жены от первого брака с Александром Ивановичем Исаевым. Часто жаловался Федор Михайлович и на свои долги, безденежье и тяжелое материальное положение. В дальнейшем мне пришлось даже быть свидетельницей его денежных затруднений[15].

---

[12] Арестованный 23 апреля 1849 г. по делу петрашевцев Достоевский был заключен в Петропавловскую крепость и пробыл там до 24 декабря 1849 г., а затем был отправлен в Сибирь.

[13] Имеется в виду семья Веры Михайловны Ивановой, любимой сестры писателя. Достоевский писал к ней и ее мужу, А. П. Иванову 1/13 января 1868 г.: «А кто же милее и дороже мне (да и Анне Григорьевне, кроме своих) – как не вы и ваше семейство?».

[14] Речь идет о Марии Дмитриевне Исаевой.

[15] Как-то раз, придя заниматься, я заметила исчезновение одной из прелестных китайских ваз, подаренных Федору Михайловичу его сибирскими друзьями. Я спросила: «Неужели разбили вазу?» – «Нет, не разбили, – ответил Федор Михайлович, – а отнесли в заклад. Экстренно понадобились двадцать пять рублей, и пришлось вазу заложить». Дня через три та же участь постигла и другую вазу.В другой раз, кончив стенографировать и проходя через столовую, я заметила на накрытом для обеда столе у прибора деревянную ложку и сказала, смеясь, провожавшему меня Федору Михайловичу: «А я знаю, что вы сегодня

Все рассказы Федора Михайловича носили такой грустный характер, что как-то раз я не выдержала и спросила:

– Зачем, Федор Михайлович, вы вспоминаете только об одних несчастиях? Расскажите лучше, как вы были счастливы.

– Счастлив? Да счастья у меня еще не было, по крайней мере, такого счастья, о котором я постоянно мечтал. Я его жду. На днях я писал моему другу, барону Врангелю, что, несмотря на все постигшие меня горести, я все еще мечтаю начать новую, счастливую жизнь Тяжело мне было это услышать! Странно казалось, что в его уже почти старые годы этот талантливый и добрый человек не нашел еще желаемого им счастья, а лишь мечтал о нем.

Как-то раз Федор Михайлович подробно рассказал мне, как сватался к Анне Васильевне Корвин-Круковской, как рад был, получив согласие этой умной, доброй и талантливой девушки, и как грустно было ему вернуть ей слово, сознав, что при противоположных убеждениях их взаимное счастье невозможно[16].

Однажды, находясь в каком-то особенном тревожном настроении, Федор Михайлович поведал мне, что стоит в настоящий момент на рубеже и что ему представляются три пути: или поехать на Восток, в Константинополь и Иерусалим, и, может быть, там навсегда остаться; или поехать за границу на рулетку и погрузиться всею душою в так захватывающую его всегда игру; или, наконец, жениться во второй раз и искать счастья и радости в семье. Решение этих вопросов, которые должны были коренным образом изменить его столь неудачно сложившуюся жизнь, очень заботило Федора Михайловича, и он, видя меня дружески к нему расположенной, спросил меня, что бы я ему посоветовала?

Признаюсь, его столь доверчивый вопрос меня очень затруднил, так как и желание его ехать на Восток[17], и желание стать игроком показались мне неясными и как бы фантастическими; зная, что среди моих знакомых и родных существуют счастливые семьи, я дала ему совет жениться вторично и найти в семье счастье.

– Так вы думаете, – спросил Федор Михайлович, – что я могу еще жениться? Что за меня кто-нибудь согласится пойти? Какую же жену мне выбрать: умную или добрую?

– Конечно, умную.

– Ну нет, если уж выбирать, то возьму добрую, чтоб меня жалела и любила.

По поводу своей предполагаемой женитьбы Федор Михайлович спросил меня: почему я не выхожу замуж? Я ответила, что ко мне сватаются двое, что оба прекрасные люди и я их очень уважаю, но любви к ним не чувствую, а мне хотелось бы выйти замуж по любви.

– Непременно по любви, – горячо поддержал меня Федор Михайлович, – для счастливого брака одного уважения недостаточно!

VI

Как-то раз, в половине октября, во время нашей работы в дверях кабинета неожиданно появился А. Н. Майков. Я видела его портреты, а потому сразу узнала.

будете есть гречневую кашу». – «Из чего вы это заключаете?» – «Да глядя на ложку. Ведь, говорят, гречневую кашу всего вкуснее есть деревянной ложкой». – «Ну и ошиблись: понадобились деньги, я и послал заложить серебряные. Но за разрозненную дюжину дают гораздо меньше, чем за полную, пришлось отдать и мою». К своим денежным затруднениям Федор Михайлович всегда относился чрезвычайно добродушно. – Прим. А. Г. Достоевской.

[16] История любви Достоевского к А. В. Корвин-Круковской рассказана в «Воспоминаниях детства» ее сестры С. В. Ковалевской.

[17] Что у Федора Михайловича было серьезное намерение поехать на Восток, о том свидетельствует найденное в его бумагах рекомендательное письмо к А. С. Энгельгардту (представителю императорской российской миссии в Константинополе), данное ему Е. П. Ковалевским, тогдашним председателем Литературного фонда. Письмо помечено 3 июня 186<3>. – Прим. А. Г. Достоевской.

– Ну и патриархально же вы живете, – шутливо заметил он Федору Михайловичу, – дверь на лестницу открыта, прислуги не видно, хоть весь дом унеси!

Федор Михайлович, видимо, обрадовался Майкову. Он поспешил нас познакомить, назвав меня «своей ревностной сотрудницей», что мне было очень приятно. Аполлон Николаевич, услышав мою фамилию, осведомился, не приходится ли мне родственником недавно умерший писатель Сниткин (обычный тогда вопрос при встречах моих с писателями), а затем заторопился уходить, говоря, что боится помешать нашей работе. Я предложила сделать перерыв, и Федор Михайлович увел Майкова в соседнюю комнату. Они разговаривали минут двадцать, а я тем временем переписывала продиктованное.

Майков вернулся в кабинет проститься со мной и попросил Федора Михайловича что-нибудь мне продиктовать. В то время стенография была новинкой и всех интересовала. Федор Михайлович исполнил его желание и продиктовал полстраницы романа. Я тотчас прочла вслух записанное. Майков внимательно рассматривал стенограмму, повторяя:

– Ну, уж тут я ничего не понимаю!

Аполлон Николаевич мне очень понравился. Я и прежде любила его как поэта, а похвалы Федора Михайловича, называвшего его добрым, прекрасным человеком, еще более укрепили приятное впечатление.

Чем дальше шло время, тем более Федор Михайлович втягивался в работу. Он уже не диктовал мне изустно, тут же сочиняя, а работал ночью и диктовал мне по рукописи. Иногда ему удавалось написать так много, что мне приходилось сидеть далеко за полночь, переписывая продиктованное. Зато с каким торжеством объявляла я назавтра количество прибавившихся листков! Как приятно было мне видеть радостную улыбку Федора Михайловича в ответ на мои уверения, что работа идет успешно и что, нет сомнения, будет окончена к сроку.

Оба мы вошли в жизнь героев нового романа, и у меня, как и у Федора Михайловича, появились любимцы и недруги. Мои симпатии заслужила бабушка, проигравшая состояние, и мистер Астлей, а презрение – Полина и сам герой романа, которому я не могла простить его малодушия и страсти к игре. Федор Михайлович был вполне на стороне «игрока» и говорил, что многое из его чувств и впечатлений испытал сам на себе[18]. Уверял, что можно обладать сильным характером, доказать это своею жизнью и тем не менее не иметь сил побороть в себе страсть к игре на рулетке.

Подчас я удивлялась своей смелости высказывать свои взгляды по поводу романа, а еще более той снисходительности, с которой талантливый писатель выслушивал эти почти детские замечания и рассуждения. За эти три недели совместной работы все мои прежние интересы отошли на второй план. Лекций стенографии я, с согласия Ольхина, не посещала, знакомых редко видала и вся сосредоточилась на работе и на тех в высшей степени интересных беседах, которые мы вели, отдыхая от диктовки. Невольно сравнивала я Федора Михайловича с теми молодыми людьми, которых мне приходилось встречать в своем кружке. Как пусты и ничтожны казались мне их разговоры в сравнении со всегда новыми и оригинальными взглядами моего любимого писателя.

Уходя от него под впечатлением новых для меня идей, я скучала дома и жила ожиданием завтрашней встречи с Федором Михайловичем. С грустью видела я, что работа близится к концу и наше знакомство должно прекратиться. Как же я была удивлена и обрадована, когда Федор Михайлович высказал ту же беспокоившую меня мысль.

– Знаете, Анна Григорьевна[19], о чем я думаю? Вот мы с вами так сошлись, так дружелюбно каждый день встречаемся, так привыкли оживленно разговаривать; неужели же теперь

---

[18] Роман «Игрок» во многом автобиографичен: в нем нашли отражение длительное увлечение Достоевского рулеткой во время заграничной поездки в 1862–1863 и 1865 гг. и его любовь к А. П. Сусловой.

[19] Только к концу месяца Федор Михайлович запомнил мое имя, а то все забывал и меня о нем переспрашивал. – Прим. А. Г. Достоевской.

с написанием романа все это кончится? Право, это жаль! Мне вас очень будет недоставать. Где же я вас увижу?

– Но, Федор Михайлович, – смущенно отвечала я, – гора с горой не сходится, а человеку с человеком нетрудно встретиться.

– Но где же, однако?

– Да где-нибудь в обществе, в театре, в концерте…

– Вы же знаете, что я в обществе и театрах бываю редко. Да и что это за встречи, когда слова не удастся иногда сказать. Отчего вы не пригласите меня к себе, в вашу семью?

– Приезжайте, пожалуйста, мы очень будем вам рады. Боюсь только, что мы с мамой покажемся вам неинтересными собеседницами.

– Когда же я могу приехать?

– Мы об этом условимся, когда окончим работу, – сказала я, – теперь для нас главное – это окончание вашего романа.

Подходило 1 ноября, срок доставки романа Стелловскому, и у Федора Михайловича возникло опасение, как бы тот не вздумал схитрить и, с целью взять неустойку, отказаться под каким-нибудь предлогом от получения рукописи. Я успокаивала Федора Михайловича, как могла, и обещала разузнать, что следует ему сделать, если бы его подозрения оправдались. В тот же вечер я упросила мою мать съездить к знакомому адвокату. Тот дал совет сдать рукопись или нотариусу, или приставу той части, где проживает Стелловский, но, разумеется, под расписку официального лица. То же самое посоветовал ему и мировой судья Фрейман (брат его школьного товарища), к которому Федор Михайлович обратился за советом.

VII

Двадцать девятого октября происходила наша последняя диктовка. Роман «Игрок» был закончен. С 4 по 29 октября, то есть в течение двадцати шести дней, Федор Михайлович написал роман в размере семи листов в два столбца, большого формата, что равняется десяти листам обыкновенного. Федор Михайлович был чрезвычайно этим доволен и объявил мне, что, сдав благополучно рукопись Стелловскому, намерен дать в ресторане обед своим друзьям (Майкову, Милюкову и др.) и заранее приглашает меня участвовать в пиршестве.

– Да были ли вы когда-нибудь в ресторане? – спросил он меня.

– Нет, никогда.

– Но на мой обед приедете? Мне хочется выпить за здоровье моей милой сотрудницы! Без вашей помощи я не кончил бы романа вовремя. Итак, приедете?

Я отвечала, что спрошу мнения моей матери, а про себя решила не ехать. При моей застенчивости я имела бы скучающий вид и помешала бы общему веселью.

На другой день, 30 октября, я принесла Федору Михайловичу переписанную вчерашнюю диктовку. Он как-то особенно приветливо меня встретил, и даже краска бросилась ему в лицо, когда я вошла. По обыкновению, мы пересчитали переписанные листочки и порадовались, что их оказалось так много, больше, чем мы ожидали. Федор Михайлович сообщил мне, что сегодня перечитает роман, кое-что в нем исправит и завтра утром отвезет Стелловскому. Тут же он передал мне пятьдесят рублей условленной платы, крепко пожал руку и горячо поблагодарил за сотрудничество.

Я знала, что 30 октября – день рождения Федора Михайловича, а потому решила заменить мое обычное черное суконное платье лиловым шелковым. Федор Михайлович, видевший меня всегда в трауре, был польщен моим вниманием, нашел, что лиловый цвет мне очень идет и что в длинном платье я кажусь выше и стройнее. Мне было очень приятно слышать его похвалы, но удовольствие мое было нарушено приходом вдовы брата Федора Михайловича, Эмилии Федоровны, приехавшей поздравить его с днем рождения. Федор Михайлович нас

познакомил и объяснил своей невестке, что благодаря моей помощи он успел кончить роман к сроку и тем избежать грозившей ему беды. Несмотря на эти слова, Эмилия Федоровна отнеслась ко мне сухо и высокомерно, чем меня очень удивила и обидела. Федору Михайловичу не понравился нелюбезный тон его невестки, и он стал ко мне еще добрее и радушнее. Предложив мне просмотреть какую-то только что вышедшую книгу, он отвел Эмилию Федоровну в сторону и стал показывать ей какие-то бумаги.

Вошел Аполлон Николаевич Майков. Он раскланялся со мной, но меня, очевидно, не узнал. Обратившись к Федору Михайловичу, он спросил, как подвигается его роман. Федор Михайлович, занятый разговором с невесткой, вероятно, не расслышал вопроса и ничего ему не отвечал. Тогда я решилась ответить за Федора Михайловича и сказала, что роман окончен еще вчера и что я только что принесла переписанную последнюю главу. Майков быстро подошел ко мне, протянул руку и извинился, что сразу не узнал. Объяснил это своею близорукостью, а также тем, что в черном платье я показалась ему ниже ростом.

Он стал расспрашивать о романе и спросил мое мнение. Я с восторгом отозвалась о новом, ставшем столь дорогим мне произведении; сказала, что в нем есть несколько необыкновенно живых и удавшихся типов (бабушка, мистер Астлей и влюбленный генерал). Мы проговорили минут двадцать, и мне так легко было разговаривать с этим милым, добрым человеком. Эмилия Федоровна была удивлена и даже несколько шокирована вниманием ко мне Майкова, но сухости тона не изменила, считая, вероятно, ниже своего достоинства отнестись с добрым вниманием к… стенографистке.

Майков скоро ушел. Я последовала его примеру, не желая переносить высокомерное отношение ко мне Эмилии Федоровны. Федор Михайлович очень уговаривал меня остаться и всячески желал смягчить неделикатность своей невестки. Он проводил меня до передней и напомнил мне обещание пригласить его к нам. Я подтвердила приглашение.

– Когда же я могу приехать? Завтра?

– Нет, завтра меня не будет дома: я звана к гимназической подруге.

– Послезавтра?

– Послезавтра у меня лекция стенографии.

– Так, значит, второго ноября?

– В среду, второго, я иду в театр.

– Боже мой! У вас все дни разобраны! Знаете, Анна Григорьевна, мне думается, что вы это нарочно говорите. Вам просто не хочется, чтобы я приезжал. Скажите правду!

– Да нет же, уверяю вас! Мы будем рады вас у себя видеть. Приезжайте третьего ноября, в четверг, вечером, часов в семь.

– Только в четверг? Как это долго! Мне будет без вас так скучно!

Я, конечно, приняла эти слова за милую шутку.

VIII

Итак, блаженное для меня время миновало, и наступили скучные дни. За этот месяц я так привыкла весело торопиться к началу занятий, так радостно встречаться с Федором Михайловичем и так оживленно с ним разговаривать, что это сделалось для меня потребностью. Все прежние обычные занятия потеряли для меня интерес и показались пустыми и ненужными. Даже обещанное посещение Федора Михайловича не только не радовало, но, напротив, тяготило меня. Я понимала, что ни моя добрая мама, ни я не можем быть занимательными собеседницами такого умного и талантливого человека. Если до сих пор у нас с Федором Михайловичем велись оживленные беседы, то (думала я) лишь потому, что они вращались около дела, нас обоих интересовавшего. Теперь же Федор Михайлович явится к нам в качества гостя, которого необходимо «занимать». Я стала придумывать темы для наших будущих разговоров

и мучилась мыслью, что впечатление утомительной поездки в нашу окраину и скучно проведенного вечера изгладят у Федора Михайловича, как у чрезвычайно впечатлительного человека, воспоминания о прежних наших встречах, и он пожалеет, зачем назвался на такое скучное знакомство. Мечтая увидеться с Федором Михайловичем, я, однако, готова была желать, чтобы он забыл о своем обещании посетить нас.

Аполлон Николаевич Майков (1821–1897 гг.) – русский поэт, член-корреспондент Петербургской АН (1853 г.), Тайный советник (1888 г.). Художник В. Г. Перов. 1872 г.

Как человек жизнерадостный я старалась занять себя и рассеять свое печальное, вернее, тревожное настроение: побывала у подруги, а на следующий вечер пошла на лекцию стенографии. Ольхин встретил меня поздравлением с успешным окончанием работы. Федор Михайлович писал ему об этом и благодарил за рекомендацию стенографа, с помощью которого он мог довести свой роман до благополучного конца. Федор Михайлович прибавлял, что новый способ работы оказался для него удобным и он рассчитывает и впредь им пользоваться.

В четверг, 3 ноября, я с утра начала приготовления к приему Федора Михайловича: сходила купить груш того сорта, которые он любил, и разных гостинцев, какими он иногда меня угощал. Целый день я чувствовала себя беспокойной, а к семи часам волнение мое достигло крайней степени. Но пробило половина восьмого, восемь, а он все не приезжал, и я уже решила, что он подумал приехать или забыл свое обещание. В половине девятого раздался наконец столь долгожданный звонок. Я поспешила навстречу Федору Михайловичу и спросила его:

– Как это вы меня разыскали, Федор Михайлович?

– Вот хорошо, – отвечал он приветливо, – вы говорите это таким тоном, будто вы недовольны, что я вас нашел. А я ведь ищу вас с семи часов, объехал окрестности и всех расспрашивал. Все знают, что тут имеется Костромская улица, а как в нее попасть – указать не могут[20]. Спасибо, нашелся добрый человек, сел на облучок и показал кучеру, куда ехать.

Вошла моя мать, и я поспешила представить ей Федора Михайловича. Он галантно поцеловал ей руку и сказал, что очень обязан мне за помощь в работе. Мама принялась разливать чай, а Федор Михайлович тем временем рассказывал мне, сколько тревог принесла ему доставка рукописи Стелловскому. Как мы предвидели, Стелловский схитрил: он уехал в провинцию, и слуга объявил, что неизвестно, когда он вернется. Федор Михайлович поехал тогда в контору изданий Стелловского и пытался вручить рукопись заведующему конторой, но тот наотрез отказался принять, говоря, что не уполномочен на это хозяином. К нотариусу Федор Михайлович опоздал, а в управлении квартала днем никого из начальствующих не оказалось, и его просили заехать вечером. Весь день провел он в тревоге, и лишь в десять часов вечера удалось ему сдать рукопись в конторе квартала (N-ской) части и получить от надзирателя расписку.

Мы принялись пить чай и беседовать так же весело и непринужденно, как всегда. Придуманные мною темы разговоров пришлось отложить в сторону – так много явилось новых и занимательных. Федор Михайлович совершенно очаровал мою мать, вначале несколько смущенную посещением «знаменитого» писателя. Федор Михайлович умел быть обаятельным, и часто впоследствии приходилось мне наблюдать, как люди, даже предубежденные против него, подпадали под его очарование.

Федор Михайлович сказал мне, между прочим, что хочет неделю отдохнуть, а затем приняться за последнюю часть «Преступления и наказания».

– Я хочу просить вашей помощи, добрая Анна Григорьевна. Мне так легко было работать с вами. Я и впредь хотел бы диктовать и надеюсь, что вы не откажетесь быть моею сотрудницей.

– Охотно стала бы вам помогать, – отвечала я, – да не знаю, как посмотрит на это Ольхин. Быть может, он эту новую работу у вас предназначил для другого своего ученика или ученицы.

– Но я привык к вашей манере работать и ею чрезвычайно доволен. Странно было бы, если бы Ольхин вздумал мне рекомендовать другого стенографа, с которым я, возможно, и не сойдусь. Впрочем, вы сами, может быть, не хотите у меня больше заниматься? В таком случае я, конечно, не настаиваю…

---

[20] Костромская улица находится за Николаевским госпиталем, чрез ворота которого ближайший к ней путь. Вечером ворота эти запирались, и попасть в эту улицу можно было или со Слоновой улицы (ныне Суворовского проспекта), или с Малой Болотной. – Прим. А. Г. Достоевской.

Он был, видимо, огорчен. Я старалась его успокоить; сказала, что, вероятно, Ольхин ничего не будет иметь против этой новой работы, но что мне все же следует его об этом спросить.

Около одиннадцати часов Федор Михайлович собрался уходить и, прощаясь, взял с меня слово на первой же лекции переговорить с Ольхиным и ему написать. Мы расстались самым дружелюбным образом, и я вернулась в столовую в восторге от нашей столь оживленной беседы. Но не прошло и десяти минут, как вошла горничная и рассказала, что у извозчика-лихача, привезшего Федора Михайловича, кто-то в темноте украл подушку с санок. Извозчик был в отчаянии, и лишь обещание Федора Михайловича вознаградить его за потерю могло его утешить.

Я так была еще юна, что этот эпизод меня чрезвычайно смутил: мне представилось, что подобный случай повлияет на отношения Федора Михайловича к нам и что он не захочет бывать в такой глуши, где его могут ограбить, как ограбили его извозчика. Мне до слез было жалко, что впечатление так чудесно проведенного вечера рушилось от обидной случайности.

IX

На другой день после посещения Федора Михайловича я отправилась на целый день к моей сестре Марии Григорьевне Сватковской и рассказывала ей и ее мужу, Павлу Григорьевичу, о моей работе у Достоевского. Занимаясь днем у Федора Михайловича, а вечером переписывая продиктованное, я видалась с сестрой Машей лишь урывками, и рассказов накопилось много. Сестра слушала внимательно, постоянно перебивая и обо всем подробно расспрашивая, и, видя мое чрезвычайное одушевление, сказала мне на прощанье:

– Напрасно, Неточка, ты так увлекаешься Достоевским. Ведь твои мечты осуществиться не могут, да и слава богу, что не могут, если он такой больной и обремененный семьей и долгами человек!

Я горячо возразила, что Достоевским совсем не «увлекаюсь», ни о чем не «мечтаю», а просто рада была беседовать с умным и талантливым человеком и благодарна ему за его всегдашнюю доброту и внимание ко мне.

Однако слова сестры меня смутили, и, вернувшись домой, я спрашивала себя: неужели сестра Маша права и я действительно «увлечена» Федором Михайловичем? Неужели это начало любви, которой я до сих пор не испытала? Какая это была бы безумная мечта с моей стороны! Разве это возможно? Но если это начало любви, то что же мне делать? Не отказаться ли мне под благовидным предлогом от предлагаемой им мне работы, не видеть его более, не думать о нем, постараться мало-помалу забыть и, углубившись в какое-либо занятие, возвратить себе прежнее душевное спокойствие, которым я всегда так дорожила. Но ведь возможно, что Маша и ошибается, и никакая опасность не угрожает моему сердцу. Зачем же в таком случае я лишу себя и стенографической работы, о которой я так мечтала, и тех добродушных и интересных бесед, которыми эта работа сопровождалась?

Кроме того, страшно жаль было оставить Федора Михайловича без стенографической помощи, раз уж он к ней приспособился, тем более что среди учеников и учениц Ольхина (кроме двух, уже имевших постоянную работу) я не знала, кто бы меня мог вполне заменить и по скорости письма, и по аккуратности в доставке продиктованного.

Все эти мысли мелькали в моей голове, и я чувствовала себя очень тревожно.

Наступило воскресенье, 6 ноября. В этот день я собралась поехать поздравить мою крестную мать с днем ее ангела. Я не была с нею близка и посещала ее лишь в торжественные дни. Сегодня у нее предполагалось много гостей, и я рассчитывала рассеять не покидавшее меня эти дни гнетущее настроение. Она жила далеко, у Аларчина моста, и я собралась к ней засветло. Пока послали за извозчиком, я села поиграть на фортепьяно и, за звуками музыки, не рас-

слышала звонка. Чьи-то мужские шаги привлекли мое внимание, я оглянулась и, к большому моему удивлению и радости, увидела входившего Федора Михайловича. Он имел робкий и как бы сконфуженный вид. Я пошла к нему навстречу.

– Знаете, Анна Григорьевна, что я сделал? – сказал Федор Михайлович, крепко пожимая мне руку. – Все эти дни я очень скучал, а сегодня с утра раздумывал, поехать мне к вам или нет? Будет ли это удобно? Не покажется ли вам и вашей матушке странным столь скорый визит: был в четверг и являюсь в воскресенье! Решил ни за что не ехать к вам и, как видите, приехал!

– Что вы, Федор Михайлович! Мама и я, мы всегда будем рады вас видеть у себя!

Несмотря на мои уверения, разговор наш не вязался. Я не могла победить моего тревожного настроения и только отвечала на вопросы Федора Михайловича, сама же почти ни о чем не спрашивала. Была и внешняя причина, которая меня смущала. Нашу большую залу, в которой мы теперь сидели, не успели протопить, и в ней было очень холодно. Федор Михайлович это заметил.

– Как у вас, однако, холодно; и какая вы сами сегодня холодная! – сказал он и, заметив, что я в светло-сером шелковом платье, спросил, куда я собираюсь.

Узнав, что я должна ехать сейчас к моей крестной матери, Федор Михайлович объявил, что не хочет меня задерживать, и предложил подвезти меня на своем лихаче, так как нам было с ним по дороге. Я согласилась, и мы поехали. При каком-то крутом повороте Федор Михайлович захотел придержать меня за талию. Но у меня, как у девушек шестидесятых годов, было предубеждение против всех знаков внимания, вроде целования руки, придерживания дам за талию и т. п., и я сказала:

– Пожалуйста, не беспокойтесь, – я не упаду! – Федор Михайлович, кажется, обиделся и сказал:

– Как бы я желал, чтоб вы выпали сейчас из саней!

Я расхохоталась, и мир был заключен: всю остальную дорогу мы весело болтали, и мое грустное настроение как рукой сняло. Прощаясь, Федор Михайлович крепко пожал мне руку и взял с меня слово, что я приду к нему через день, чтобы условиться относительно работы над «Преступлением и наказанием».

X

Восьмое ноября 1866 года – один из знаменательных дней моей жизни: в этот день Федор Михайлович сказал мне, что меня любит, и просил быть его женой. С того времени прошло полвека, а все подробности этого дня так ясны в моей памяти, как будто произошли месяц назад.

Был светлый морозный день. Я пошла к Федору Михайловичу пешком, а потому опоздала на полчаса против назначенного времени. Федор Михайлович, видимо, давно уже меня ждал: заслышав мой голос, он тотчас вышел в переднюю.

– Наконец-то вы пришли! – радостно сказал он и стал помогать мне развязывать башлык и снимать пальто. Мы вместе вошли в кабинет. Там на этот раз было очень светло, и я с удивлением заметила, что Федор Михайлович чем-то взволнован. У него было возбужденнее, почти восторженное выражение лица, что очень его молодило.

– Как я рад, что вы пришли, – начал Федор Михайлович, – я так боялся, что вы забудете свое обещание.

– Но почему же вы это думали? Если я даю слово, то всегда его исполняю.

– Простите, я знаю, что вы всегда верны данному слову. Я так рад, что опять вас вижу!

– И я рада, что вижу вас, Федор Михайлович, да еще в таком веселом настроении. Не случилось ли с вами чего-либо приятного?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.